КЛАССИКА НАУЧНОЙ МЫСЛИ

«История из наставницы стала ученицей жизни...»

В нашем журнале мы публикуем работы отечественных историков и социологов начала XX в. Это бурное время системного кризиса политической, экономической, социальной систем страны, время революций, Первой мировой и гражданской войн. Под тяжким катком истории рушились казавшиеся прочными политические аксиомы и философские схемы, менялись мировоззренческие представления и партийные симпатии.

Обратной стороной такого кризиса, в том числе мировоззренческого, стало стремление понять и объяснить происходящее, выявить причины и следствия происходившего*, понять природу общества.* Не случайно именно в эти десятилетия появляется серия социологических работ – А.С. Лаппо-Данилевского, В.М. Хвостова, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, П.А. Сорокина и др.[1]

Заметное место среди работ, посвященных анализу состояния общества и государства, причин и условий общественных изменений, занимают публикации Роберта Юрьевича Виппера. Р.Ю. Виппер прожил долгую и полную драматических изменений жизнь (1859–1954). Выпускник и профессор Московского университета, блестящий знаток истории Западной Европы со времен античности до начала XX в., автор бесчисленного количества учебников по истории Древнего мира, средних веков, Новой

[1] См.: *Лаппо-Данилевский, А.С.* Основные принципы социологической доктрины О. Конта / Проблемы идеализма. – М., 1902; *он же*. Методология истории. – Вып. 1-2. – СПб., 1911–1913; *Хвостов, В.М*. Социология. Введение. – Ч. 1 : Исторический очерк учений об обществе. – М., 1917; *Кареев, Н.И*. Введение в изучение социологии. – М., 1897; *он же*. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. – 2-е изд., с добавл. – СПб., 1914; *он же*. Основы русской социологии // Социологические исследования. – 1985. – № 3; *он же*. Отношение историков к социологии // Рубеж (альманах социальных исследований). – 1992. – № 3; *Ковалевский, М.М.* Социология. Соч. : в 2 т. – СПб., 1997; *Сорокин, П.А*. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. – СПб., 1914; *он же*. Система социологии. – Т. 1–2. – Пг., 1920; *он же*. Социология революции. – М., 2005.

и Новейшей истории, он исследовал природу исторического познания[1], серьезно изучал и не скрывал своих симпатий к социалистическому учению.

Р.Ю. Виппер пережил тяжелейший кризис, вызванный последствиями мировой войны и революции 1917 г. По сути, он стал одним из первых и последовательных критиков не только складывающейся в России новой политической (коммунистической) системы, но и философии большевизма со свойственной ей идеей прогресса, приматом социально-экономических факторов как двигателя исторического развития[2].

В 1920 г. Р.Ю. Виппер прочитал студентам Московского университета лекцию, назвав ее многозначительно: «Кризис исторической науки». Но говорил профессор не только (и не столько) о собственно профессии историка, сколько об общих методологических проблемах общества и государства после их испытаний горьким опытом нескольких лет революции и войн. Лекция была опубликована в Казани двумя годами позже, вызвав злобную рецензию одного из главных идеологов страны Советов, заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского[3]. Виппер заработал репутацию реакционера и «неофита идеализма».

Позднее Р.Ю. Випперу пришлось уехать и преподавать в Риге, в 1941 г. вернуться в Россию, быть обласканным властью за книгу «Иван Грозный» с ее апологетикой сильной самодержавной власти, пришедшейся «ко двору» И.В. Сталина, стать академиком АН СССР.

Мы публикуем текст лекции с некоторыми сокращениями.

Р.Ю. Виппер

КРИЗИС ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ*

Казань, 1921

Состояния и события; массы и личности, интересы и идеи

Если кто из вас учился по латыни, то, может быть, помнит выражение Цицерона: historia est magistra vitae – история – наставница жизни. Бывают

[1] См.: *Виппер, Р.Ю.* Очерки истории исторического познания. – М., 1911.

[2] *Виппер, Р.Ю.* Круговорот истории: сборник статей. – М.; Берлин, 1923; *он же*. Коммунизм и культура: древность. – Рига, 1925; *он же.* Иван Грозный. – М., 1922.

[3] *Покровский, М.Н.* Проф. Р.Ю. Виппер о кризисе исторической науки // Под знаменем марксизма. – 1922. – № 3.

* Вступительная лекция к курсу «Международной и политической истории новейшего времени», прочитанная в Москве 16 ноября 1920 г.

эпохи, когда хочется сказать как раз обратное: не история учит понимать и строить жизнь, а жизнь учит толковать историю. Такую эпоху мы сейчас переживаем.

Наш жизненный опыт и в крупном, и в мелком необычайно обогатился. И наши суждения о прошлом, наши исторические мнения приходятся все пересматривать, подвергать критике и сомнению, заменять одни положения другими, иногда обратными. История из наставницы стала ученицей жизни.

В самом деле: вот вам группа фактов, под давлением которой мы находимся. Мы были участниками, частицами великого государственного тела, ныне более не существующего. Мы притягивали историю для объяснения того, как выросло русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет историков проверить свои суждения. Он властно требует объяснения; надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования исторической науки.

Мне хотелось бы остановиться на одной существенной перемене в наших исторических методах, которую создала переживаемая нами катастрофа. Вы, вероятно, обратили внимание на заглавие моего курса: «Международная и политическая история Новейшего времени». Для тех кто впервые начинает слушать в университете, тут нет ничего особенного; но для того, кто немного знает характер нашего обычного университетского преподавания, я скажу, для тех, кто знаком с характером моих прежних курсов, этот заголовок звучит необычно.

Мы, преподаватели университета, совсем не то выдвигали в истории, совсем не на том останавливали внимание наших слушателей, старались в них вызвать совсем другие представления. Наша речь была не о *внешней,* политической, дипломатической и военной истории, а о *внутренней,* социальной и культурной. Мне необходимо подробнее остановиться на нашей прежней исторической манере для того, чтобы яснее выступила вся значительность перемены, которую мы испытали и которой мы должны подчиниться, если хотим поспевать за жизнью, а не погибать от ее толчков.

Историческое преподавание и в средней школе, и в университете стояло под знаком *социальной истории.* Конституции, личности правителей, дипломатические переговоры, военные действия казались явлениями поверхностными, под которыми кроются истинные «реальные» глубокие внутренние процессы. Самое важное, что подлежит изучению историка, это – общественные отношения, строение классов. Стоит понять внутренние отношения, и тогда будут ясны все личные, международные и внешнегосударственные перемены.

С этой уверенностью в превосходстве внутренней истории над внешней были связаны еще другие особенности нашей недавней исторической

манеры. Мы придавали мало значения *личностям,* мы сводили крупные факты к действиям *масс.* Большие цифры, партии, собирающие большое количество голосов, массы плательщиков, интересы обширных общественных слоев, вот что – говорили мы – решает в конечном счете. Что могут сделать отдельные министры, дипломаты, администраторы, парламентские ораторы? Что могут значить переговоры между кабинетами, трактаты между государствами? Они только подтверждают, закрепляют то, что уже решено подавляющей силой масс; больше того, эти акты – только вывеска-объявление о том, что происходит в судьбах больших общественных групп.

Мы еще дальше шли в применении нашего метода истолкования истории законами массовых действий. Разделяя человеческие мотивы, их *интересы* и *идеи,* мы склонны были придавать первостепенное значение интересам. Идеи, теории сами будто бы не двигают жизни, они – только последствие таких-то и таких-то комбинаций интересов, сплетения жизненных мотивов; они – только своеобразная игра света на поверхности волн потока, но они не влияют на течение этих волн. Мы преимущественно описывали различные *состояния,* социальное и культурное положения классов и очень мало склонны были рассказывать о *событиях,* происшествиях.

Конечно, мы находились под невольным незаметным для нас воздействием жизни. В европейском мире было сравнительно тихо, если не считать окраин, какого-нибудь Балканского полуострова, не было ни войн, ни переворотов; продолжались одни и те же состояния – вот о них-то мы и говорили в наших исторических курсах. Эти длительные состояния мы считали самым важным моментом в изучении эпох прошлого. Наши научные понятия и приемы находили себе поддержку еще в своеобразных житейских предрассудках. Европейские общества отвыкли от войн, и хотя всюду была введена всеобщая воинская повинность, громадное большинство людей разучилось владеть оружием. Все тяготились и военной повинностью, и тяжелыми налогами, служившими военному бюджету. Из этого недовольства создался страх перед войной, который люди со свойственной им сентиментальностью возвели в нелюбовь к войне, в нравственное осуждение войны. Европейцы забыли, что громадные державы современности из войны возникли, военной силой охраняются; они принимали, как должное, выгоды, которые давал империализм, т. е. расширение государства путем войн или угрозы войнами, и не хотели принимать тяжелые обязанности, которые он за собою влек. Таким образом возникло одно из курьезных явлений недавней современности – *пацифизм.*

У меня есть хороший знакомый моего возраста, историк, образованный и умный человек, который с начала великой войны при встречах постоянно мне твердил: «Я враг войны, я ненавижу войну, я в ужасе от негуманности людей, приемлющих войну!». Напрасно приходилось мне указывать на неуместность этих восклицаний, пробовал я даже намекнуть слегка на лицемерие филантропических сентенций, мой знакомый не хотел понять меня;

напротив, он находил, что выгодно отличается от нас, принявших войну и лихорадочно следивших за ее поворотами. Давно я не спрашивал его, как он сейчас смотрит на войну; может быть, он остался неисправим и до сих пор разделяет салонную мораль Берты Зуттнер с ее кличем «долой оружие», который был так популярен во времена Гаагской конференции 20 лет тому назад. Но уж теперь мой знакомый одинок. А до войны, в особенности же до катастрофы России, он представляя взгляд подавляющего большинства интеллигентных людей, не желавших «принять войну». О массах простого народа я вообще не говорю, потому что они ничего не думали, не были ни «за», ни «против» войны, и теперь только, под впечатлением оглушительных ударов гражданской войны, получили случай впервые сообразить, какое место занимает война в общем строе жизни.

Пацифизм очень сильно действовал на характер нашего преподавания. Останавливаться подробно на войнах, на выдающихся военных деятелях считалось старомодным, смешным, почти нравственно предосудительным. Припомним отношение большинства к японской войне. Как мало интересовались ходом военных действий, как много было людей, иронически сочувствовавших японцам! <...> Позднее, оппозиционные партии в Думе необычайно пренебрежительно относились к вопросам военного бюджета, а широкие слои общества поддерживали их в данном случае своим сочувствием.

Отражалась эта странная слепота общественного мнения в школе. Тут уже просто считалось аксиомой, что надо поменьше заставлять учить войны и миры, а побольше останавливаться на культуре.

Педагоги от себя прибавляли еще то соображение, что неразумно забивать голову ученика хронологическими цифрами, упоминанием бесчисленных сражений, которые к тому же ничего не изменили в ходе развития человечества, но все-таки главное основание чуждаться изучения войн в школе состояло в том, что педагоги хотели привить отвращение к войне, воспитать в молодых поколениях гуманность. Как далеко в этом отношений шли люди чувствительные, видно из анекдотического нежелания радикально мыслящих родителей покупать детям в виде игрушек ружья, оловянных солдатиков и т. п.: «что за варварские, допотопные игры! – говорили отцы и матери, – надо давать в руки с самого малого возраста только полезное!»

Именно над этим-то закосневшим в своих предрассудках обществом, заснувшим над поверхностью клокотавшего вулкана, и стряслась двойная беда – война и социальная революция, а последняя есть тоже война, только распыленная, зато еще более беспощадная! Теперь мы все увидали, что уже давно существуем среди всеобщей войны, что все наши жизненные усилия служили войне, были результатом все возраставшей, жестокой конкуренции.

Любили вы войну или нет, вы должны были ею заинтересоваться, вы должны были почувствовать ее великую роль в истории человечества. И вы невольно должны теперь смотреть иными глазами на прошлые века.

<...>

Соединение воинственного напряжения с коммунизмом мы наблюдали еще в эпоху гуситских войн. Сейчас под впечатлением недавних событий нам многое представляется неожиданно любопытным в истории Чехии первой половины XV в. Мы видим национальное движение с требованием самоопределения народа против старого режима, против императорской власти, связанной с господством церкви. Умеренная оппозиция идет сначала вместе с радикальной. Радикалы отдаются учению о коммунизме, которое возвещается талантливыми проповедниками и учеными с необычайным жаром и железной последовательностью. Программу равенства и неделимой общей собственности усваивает воинство, которое отбивает победоносно все армии, вооружаемые во имя старого порядка, а потом решительно порывает с умеренными. Основавши свой центр под именем Табора (т. е. Библейской горы благодати, Фавора) в большом промышленном городе, коммунистическое воинство начинает совершать крупные набеги в соседние страны, забирая огромную добычу, наводя ужас на состоятельные классы и пропагандируя среди пролетариев других государств свои социальные идеи, которые люди зажиточные называли «богемским ядом».

Пятнадцать лет живет Табор в качестве коммунистической общины, живет чужими запасами, захватом добычи, ничего не производя, живет гражданской войной. Воинство остается непобедимым до тех пор, пока живы его замечательные вожди, Жижка и два Прокопа. С их смертью все рушится. В виде наследия от страшной воинственной коммуны остаются мирные трудолюбивые созерцательные общины чешских братьев.

Посмотрите, куда направляется наш интерес: к событиям, войнам, революциям, драматическим конфликтам, сражениям, переворотам, боям, воинственным организациям, громадным захватам. Нам хочется наблюдать массы не в состояниях, не в классовом их делении, изучать их не в порядке описания, а в их действиях, в резких поворотах. Мы надеемся лучше понять их жизнь при таком способе изучения, при такой постановке. Ясно, откуда идет новое направление нашей исторической манеры: мы целиком захвачены действиями, быстро развертывающимися и сменяющими друг друга.

Есть еще одна особенность в направлении нашего вкуса и нашего внимания. Нас стали интересовать *личности* вождей, организаторов, идейных вдохновителей, командиров, правителей, ораторов, проповедников. И опять эта перемена пошла от наблюдения современности. Мы почти не говорим: «политика Англии, Франции, Соединенных Штатов», а выражаемся: «замыслы, программа Ллойд-Джорджа, Мильерана, Вильсона».

Мы говорим, что Германия одерживала победы против гораздо более сильного врага благодаря таланту Гинденбурга, Людендорфа, Тирпица.

<...>

Мы привыкли думать, что дальнобойные орудия, подводные лодки, летательные аппараты, танки составляют торжество техники, которое почти упраздняет стратегию, исключает возможность проявление таких гениев, как Наполеон. Что может сделать, казалось бы, личность против химических снарядов, сплошного заградительного огня, невидимой артиллерии, бьющей за 150 верст?

А вот у военных-то я как раз и услышал, что все решается личностями, что в последней войне побеждала та сторона, которая имела вождей последовательных, действовавших по хорошо обдуманному плану, прошедших хорошую школу, обладавших великими традициями. Русские терпели неудачи в международной войне не от недостатка снарядов, а от неспособности вождей. Или еще отрицательный пример, освещающий косвенно роль личности. Генерал Алексеев, под конец старого режима сделавшийся начальником Главного штаба, был гениальный ученый, многоспособный техник, изобретатель остроумнейших стратегических планов; все эти данные, однако, пошли прахом, потому что он не обладал самым существенным для вождя качеством – волею, решимостью, настойчивостью. А вождь должен быть деспотом как Наполеон. Еще такой же пример: мы говорим, что действия англичан в великой войне были бледны, незначительны – почему? – потому что они не выставили ни одной выдающейся личности.

<...> Наконец, еще одна перемена в наших исторических суждениях под влиянием впечатлений современности. Мы привыкли думать, что *идеи – лишь формулы действующих интересов,* что никого нельзя переубедить аргументами, что управляют жизнью могущественные реальные мотивы, которые, в свою очередь, определяются классовым положением.

А вот перед нашими глазами изумительный факт: количественно небольшая группа овладевает колоссальным государством, становится властью над громадной массой и перестраивает всю культурную и социальную жизнь сверху донизу. Согласно чему? – Своей идейной системе, своей абстракции, своей утопии земного рая, жившей до тех пор лишь в умах немногих экзальтированных романистов.

Это ли не господство теорий над миром человеческих отношений!

Еще острее наше впечатление от того контраста, который получается между поступками и убеждениями властителей современного момента. Они очень любили выставлять себя материалистами, смеяться над всякими идеологиями. Ведь не кто иной, как именно они считали политические теории, философские системы и т. п. надстройкой, декорацией, тогда как все дело в фундаменте классовых интересов. А вот теперь они-то и отда-

ются увлечению своими идеями, они-то и не хотят считаться с реальными интересами, с вековыми привычками, стремясь дать место полету своего воображения, упиваясь блеском и стройностью своих мысленных чертежей. Своим примером они только показывают, как же все вместе с ними заблуждались прежде, когда считали идею, теории чем-то производным, кабинетным, оранжерейным, когда сомневались в способности теорий действовать на воображение, когда думали, что идеи неспособны управлять людьми!

В результате важный поворот в наших исторических рассуждениях. Мы вынуждены обратить внимание на громадное воздействие идей, на творческую и разрушительную роль теорий в судьбах человечества.

Легко видеть перемену метода на истолковании такого исторического факта, как развитие монашества в конце эпохи Римской империи. Исследователи, которые исходили от недавно господствовавшего материалистического взгляда, обычно обращали внимание на разорение классов, на усиление пролетариата, на роль государства, увеличивавшего повинности, на опустение городов. Что же касается идей монашества, аскетизма, созерцательности бытия, презрения к телу, красоте и богатству, увлечения картинами неземного бытия, все эти явления исследователи-материалисты готовы были рассматривать как последствия классовых отношений, во всяком случае, как факты второстепенные, привходящие.

Теперь под влиянием поворота в понятиях историк, невольно скажет себе: не поставить ли вопрос обратно? Не устремить ли свое внимание прежде всего на своеобразный круг идей монашества, на мечту о внетелесном, неземном бытии, не в них ли искать определяющий фактор всего движения, бегства из городов, уклонения от повинностей и т. д.? И вообще, не попытаться ли построить обратный порядок в толковании связи исторических явлений: искать не того, как класс вырабатывает свою идеологию, а того, как определенная идеология, собирая единомышленников, образует собою новый класс.

Повторю основные моменты наблюдаемой в современности перемены исторического метода, исторического толкования. Мы еще недавно спрашивали о *состояниях, о жизни масс, о направлении, интересов.* Мы теперь хотим прежде всего знать *события, роль личностей, сцепление* идей. Когда эту смену воззрений и вкусов захочет определить философ, он скажет: общественное мнение перешло от воззрения *материалистического* к *идеалистическому.*

Мне пришлось описать вам явление, происходящее на наших глазах в области научных воззрений и приемов. Искали в одном направлении, ищут теперь в другом. Вы спросите: какой же путь вернее, в каком направлении следует искать, чтобы найти более прочные научные выводы, чтобы сделать более правильные научные заключения? Можно ли сказать,

что исследователи заблуждались, когда выясняли состояния и стали на правильную дорогу, когда стали выяснять события?

Мне кажется, что здесь нет исключительных решений, нет альтернативы, нет вопроса «или одно, или другое». И материалистический взгляд, и взгляд идеалистический, каждый в отдельности взятый, неполны, недостаточны, односторонни. Очень хорошо было бы, если бы в науке одновременно и согласно действовали тем и другим методом, смотрели бы с той и другой точки зрения. Но так никогда не бывает, все мы отличаемся односторонностью, никто не бывает одновременно материалистом и идеалистом.

Но никто из нас и не стоит одиноко и разрозненно среди этих направлений. Мы все принадлежим так или иначе к большим полосам настроений, мы находимся во власти своего рода умственных партий, господство которых сменяется в обществе. Есть что-то более сильное, чем рассуждения и чувства отдельных лиц. Семь лет тому назад вы могли бы горячо взывать к тому, чтобы от изучения классовых интересов, массовых явлений, состояний, периодизации социальных отношений ученые перешли к характеристике событий, личностей, идей – вы остались бы гласом вопиющего в пустыне. Попробуйте теперь обратно сказать: не будем интересоваться войнами, революциями, драматическими конфликтами, столкновениями держав и народов, фигурами командиров, политических вождей, будем изучать культурные отношения, длительные формы быта, медленно слагающуюся структуру классов. Вам скажут: вы опоздали, мы теперь не о том хотим слышать, не то стремимся узнать.

Материализм победоносно утвердился в социальных науках в 70-х и 80-х годах XIX в. Он сменил идеалистические взгляды романтиков, сложившиеся, в свою очередь, под впечатлением бурной эпохи войн начала XIX в. Вы легко заметите, какое видное место в рассуждениях людей первой половины XIX в. занимает Наполеон, как спорят о роли Робеспьера, как возвеличивают идеи жирондистов. Насколько не похожи на эти суждения формулы последователей Маркса, для которых существует только неумолимый железный закон диалектики, смена одного массового строя его противоположностью.

Будет ли новый идеализм повторять формулы идеализма старого или выставит иные учения, я не знаю. О наступающей перемене в воззрениях я только догадываюсь. Догадываюсь и о том новом запросе, с которым пришли вы, люди нового поколения, вырастающие среди катастрофы, среди ломки и крушения, среди событий по преимуществу.

Верит ли кто-нибудь в теорию прогресса?

В современном европейском обществе происходит тяжелый кризис быта и понятий. Для историка особенно заметно в этой катастрофе круше-

ние теории прогресса, составлявшей чуть ли не главный догмат культуры XIX в.

Поколение, вступавшее в жизнь в последнюю четверть прошлого века и оканчивающее в настоящий момент свою работу, может дать известного рода отчет в судьбе теории за время 40–70 лет. Тот, кто был студентом в 70-х годах XIX столетия, очень живо помнит, какое место теория прогресса занимала и в лекциях, и в книгах, и в темах, предлагавшихся преподавателями, и в собственных научных усилиях учащихся, между прочим, в занимавших их беседах и спорах. Считалось как бы за аксиому, что всякий, кто хочет быть историком, должен усвоить веру в исторический прогресс и вооружиться всеми доказательствами в пользу ее правильности.

Попытаюсь формулировать главные догматические пункты этой теории, как она тогда нам представлялась.

1. Человечество *доисторического* века жило неподвижной жизнью вне государства, без науки и техники. В его быту нет развития, нет страстей подъема, нет хронологии. Доисторический век не был очень долгим; историк прозревал весьма рано в глубине времен начало движения, жажду перемен.

2. *Историческая* жизнь представляет настоящее поле или мастерскую прогресса. Вызывается прогресс нарастанием потребностей человека, движется от увеличения его энергии, а его результат – новое накопление данных для дальнейшего материального обогащения и морального усовершенствования. Чем дальше, тем более прогресс растет и ширится от развившихся в самом движении сил: таков закон его механики.

<...>

И притом она тут (большая держава. – *Сост.*) сразу перед нами во всем страшном всеоружии: организация прямых и косвенных налогов, усиленное вытягивание доходов в пользу государства, описи и кадастры, огромный состав чиновников, официальная почта, контроль и шпионаж, капиталистические предприятия и захваты во всех видах, и впереди всего война, сопровождаемая уводом рабочих, поселением крепостных, основанием военных колоний и помещичьих дворов и т. д.

Попробуйте пересмотреть формы, а также теории, господствовавшие в больших державах <...> до конца абсолютизма в Европе, до Людовика XIV и Петра I включительно. Пересмотрите на расстоянии пяти тысячелетий строй и государственные учения Вавилона и Египта, Ассирии, персидской, сирийской, Римской империи, Византии, новоперсов и халифата, священной германо-римской империи, Золотой орды и Московского государства – право, тут не видно никакой эволюции.

Сменяются время от времени господа положения. И всякий раз победитель, свалив предшественника, усердно копирует его, незаменимую орга-

низацию. Государство остается чудовищем Левиафаном, все забирающим и ничего не отдающим. Оно крепко держится за учение о божественности власти, которая бросает свой отблеск на последнего чиновника и выражается в торжестве администрации над всяким общечеловеческим или «естественным» правом. На первый взгляд, может казаться, что уцелели только некоторые символы старинного востока в роде победных орлов или орденских звезд, снятых с астрологического небосклона.

Вглядываясь ближе, видишь во всем аппарате великой державы, в ее принудительных тарифах, в ее цензовых описях, в ее финансовой рутине с «нормальным» и «дополнительным» обложением, в чередовании откупов с системой удвоенной администрации, в подавляющем бумажном делопроизводстве, а также в устрашающем учении о государственном суверенитете, в бесчеловечно-жестоком политико-уголовном праве неизменное следование традициям, которые были установлены предприимчивыми завоевателями и организаторами Передней Азии, по крайней мере, за 4–5 тысяч лет до нашего времени. В истории государства за большой период времени мы не видим ни прогресса личности, ни прогресса общежития.

Новый ряд впечатлений, неблагоприятных для веры в прогресс, получается от знакомства с близкой к нам *современностью.* Трудно указать какой-нибудь порядок или систему, на первый взгляд – масса разрозненных фактов, но в целом все клонит как будто к одному результату: жить делается труднее, а человек становится все слабее силами.

Любопытно отметить, до какой степени наши впечатления далеки от того, что стояло перед глазами первых провозвестников прогресса в новейшей Европе. В самом деле, когда началась революция машин, экономисты могли пророчить быстрое удешевление жизни вместе с облегчением труда производителей, с исчезновением тяжелой египетской работы. Но ускорение производства и ослабление мускульного напряжения при помощи машин не дали пока ожидаемых результатов.

Напротив, европейское общество должно бороться с угрожающей дороговизной припасов и вообще необходимых условий жизни.

<...>

Новый вид производства как будто не служит благу человеческой личности, оно обратилось в какого-то всепожирающего молоха: «скорей и больше во что бы то ни стало!» И вот в результате мы дошли до системы Тэйлора – последнего слова усовершенствованной американской техники. Происходит отбор наиболее приспособленных для данного вида работы людей, та степень напряжения, которую они могут выдержать, становится рекордом рабочей энергии, меркой для всех следующих групп трудящихся. Работы единицы, не удовлетворяющие нужному давлению, отбрасываются в сторону. Что тут осталось от элементарного внимания к человеческой

личности? Человек перестал цениться даже как инструмент, он просто колесо, гайка в машине.<…>

В рабочем классе громадный наклон к вырождению – физическому и интеллектуальному; значительная доля вредного воздействия приходится на условия работы, на иссушающий, мертвящий и обессиливающий характер механических действия. Организмы становятся хилее, а наследственность закрепляет и ухудшает данные изменения. Умственная жизнь широких масс рабочего населения представляет картину жестокого опустошения: в ослабевший мозг вторгаются дикие понятия, суеверия и т. д.

<…>

Теория непрерывного прогресса располагала цельной и разработанной в деталях картиной исторического прошлого, которая в свое время казалась убедительной. Спрашивается, в какой мере для нас сохраняют значение доводы и толкования школы историков, которые возвели это большое и стройное здание?

Одним из важных толчков в развитии теории прогресса служат впечатления, получившиеся от изобретений, роста и успехов машинного дела. Здесь как будто бы действительно теория опирается на прочную основу. Что может быть более очевидного и несомненного, чем прогресс человеческой техники? Но вот вопрос: не стоит ли этот ряд внешних успехов совершенно одиноко? Происходит ли одновременно с изобретениями развитие и улучшение человеческой личности? Обогатилась ли ее внутренняя жизнь от ускорения передвижений и сообщений, от увеличения механического производства продуктов?

Обыкновенно изобретение приносило конец какому-нибудь уменью, мастерству, устраняло необходимость в известном таланте, сокращало ту или другую область фантазии, создавало в деятельности человеческого интеллекта пустое место. В самом деле, разве не пропадает смысл учиться фортепианной или скрипичной игре, если не говорить об артистах, когда есть фонола и граммофон? Стоит ли приобретать навыки рисования и живописи, когда достигла такого совершенства фотография, а печатание красками обещает превзойти живость и яркость масляных картин? Очень возможно, что скоро школы изящных искусств начнут закрываться за ненадобностью, а современные художники наглядно показывают, что разучились прежнему мастерству и что у них нет более ни предмета, ни цели деятельности.

Все это – очень большие потери и вырезы из человеческого существования, и мы всюду чувствуем рост опустения. Можно сколько угодно смеяться над старыми способами развлечений времен Пушкина и Герцена, когда сочиняли стихи, рисовали в альбомах, разыгрывали квартеты<...> Конечно, никого сейчас этими способами нельзя занять; но ведь ничто им

и не пришло на смену. Теперь вообще гораздо меньше поводов сходиться в тесные кружки, потому что никто ничего не умеет, никто не располагает старыми маленькими талантами.

Область игр и развлечений – только один из показателей общего широко распространенного явления. Всюду машинная техника, механические способы работы сузили личное мастерство, сократили личность трудящегося. Припомним, что представлял собой, например, каменщик, строивший готический собор, или переписчик-миниатюрист, или ткач и сапожник XVI в., бывший одновременно мейстерзингером, или странствующий народный рапсод и рассказчик, часто соединявший знание целебных трав и врачебное искусство. Насколько все эти люди были занятнее, искуснее, разнообразнее, чем современные нам ремесленники или высший слой сознательных рабочих!

<...>

В заключение нельзя не остановиться еще на одном ряде исторических явлений, которому сторонники теории прогресса придавали большое значение. Постоянно мы слышали, что с ростом культуры, увеличением точных знаний, торжеством техники и жизненных удобств, а также с утончением политических форм растет гуманность, увеличиваются и укрепляются связи между людьми, развивается более чуткий, более совестливый тип человека.

Невольно спрашиваем мы себя теперь: откуда же взялась такая уверенность? Не имеется ли во всем построении нравственного развития человечества целый ряд оптических обманов? Рост гуманности! Когда же он начался? И если можно отметить появление этого факта, отчего же в нем происходят перерывы, нарушения? Может быть, и нет вовсе никакого нравственного совершенствования человечества, может быть, оно подчиняется закону как раз обратному, закону падения?

Вот, например, факт поразительный. Смертная казнь появляется весьма поздно в культурном обществе, и не видно, чтобы в Новейшее время приближалось ее уничтожение, напротив, она все более и более приобретает простор. Очень характерно отношение средневековой церкви к смертной казни, как изобретению государства. Церковь не берет на себя ответственности за пролитие крови и ограничивается старым «языческим» средством, проклятием, отлучением, т. е. признает, что лишь божество может убить человека. В качестве хранительницы старины церковь как нельзя более выразительно воспроизводит древнее воззрение общества, которое мы и должны признать по-настоящему гуманным.

<...>

В картине предполагаемого морального прогресса человечества выдвигали обыкновенно еще одну группу явлений. Говорили, что вместе с подъемом культуры должно происходить расширение человеческих свя-

зей, рост «идейного круга», включающего тех, кого человек считает своими ближними. Изображалась очень красивая система расширения чувств солидарности в последовательных концентрических кругах семьи, рода, общины, племени, нации, союза наций с перспективой будущего объединенного человечества.

<...>

Без сомнения, старые связи, семейные, родственные, дружинные, корпорационные заключали в себе сильный принудительный элемент; на людях оригинальных, неохотно подчиняющихся дисциплине, узы и правила традиционного общежития отзывались тяжело. Но они давали также важную опору личности, оказывали сильную поддержку в критические моменты, таили могущественные средства утешения в несчастных. Напротив, новая жизнь в больших государствах, в громадных и неопределенных рамках наций, под давлением столь отделенных, неосязаемых сил, как заграничные рынки и мировые сцепления, должна была разрушать такие тесные, основанные на физическом общении, кружки, какова семья, братство, землячество и т. п.

Дала ли она взамен что-нибудь равносильное в смысле товарищеской поддержки, чувств близости, уверенности во взаимной помощи и защите?

Нет. Все новообразования современности, классы, партии профессиональные союзы, национальные группировки, становятся отличными орудиями борьбы; но для интимной жизни личности они – не что иное, как пустые места. Больше того, они образуют поле для безотрадной внутренней распри, они дают повод для новых неслыханных по ожесточенности столкновений самолюбий, расцвета карьеризма, подъема злобных чувств.

Примером может служить жизнь культурного общества в нашей стране после революции 1905–1906 года. Когда возникли политические партии, когда расширились рамки общественной деятельности, различные группы интеллигенции безнадежно перессорились между собою. Конечно, прежняя литературная республика старого режима далеко не была дружным братством, но в сравнении с позднейшей послереволюционной борьбой и взаимным ожесточением она бесконечно выигрывает, она кажется недосягаемым идеалом.

Теория прогресса и всемирная война 1914 г.

Если уже до войны накапливались возражения против теории прогресса, которые подрывали ее с разных сторон, то мировое столкновение народов опрокинуло последние ее опоры. Ни одна партия, ни одно из направлений культурной мысли не в силах более отстаивать догматы учения о прогрессе.

Вплоть до самой войны можно было еще встретиться с одной из самых упорных идей века индустриализма, возникшей у либералов и перешедшей затем к социалистам. В течение 100 лет от Питта до Чемберлена, от Наполеона I до Вильгельма II теоретики не переставали предсказывать, что великие усовершенствования, принесенные машиной, ростом промышленности, развитием обмена, усилением производительной энергии человека приведут к исчезновению войны. Нынешние войны, по их мнению, – остаток варварской старины, неуменья мирно решать столкновения, результат неспособности правильно работать и систематически организовать общественные силы. В будущем война станет ненужной. Соответственно этому убеждению строили историческую картину и противополагали старому феодальному веку – воинственному, рыцарски беспечному и насильническому – век промышленный, мирный, деловитый и юридически регулированный.

Эта вера окончательно разлетелась, и последний удар ей нанесла современная война. Прежде всего мы увидали такой неожиданный факт. Государства и нации Европы, перестроенные на демократический лад, со всеобщим избирательным нравом и всеобщей воинской повинностью, оказались не только не более миролюбивыми, как это предсказывалось с начала XIX века, но еще гораздо более воинственными, чем старые монархии и аристократии. Не было войны, которая бы отличалась большим ожесточением, чем эта война, ведомая народными ополчениями, и притом наполовину, по крайней мере, состоявшими из социалистов.

Промышленное развитие ни в каком смысле не оказалось помехой или даже задержкой воины. Воинственный империализм, захват колоний, стремление расширить рынок сбыта своих продуктов, вытеснить соперников со всех достижимых рынков – словом, все те явления, которые с неудержимой силой привели в войне, получились именно от лихорадочной работы индустрии, от крайнего напряжения новейшей промышленности. Напрасно мечтали о какой-то наклонности капитала к экономии, системе, сбережениям, о каких-то созидающих силах, в нем заложенных. Капитал оказался тем самым, что представляет собой вообще современное человечество, т. е. нарастающей организацией борьбы, воинственной силой, которая ищет лишь удобнейших для себя путей приложения.

В свое время и либерализм, и социализм (в лице Маркса) обещали, что капитал в неудержимом ходе разрушения мелких бессильных, разрозненных хозяйств, в разработке еще нетронутых или недостаточно попользованных богатств дойдет до известных пределов насыщения и тогда начнет превращаться в какую-то финальную, общеполезную, всеохватывающую систему. Предсказание это относилось к индустриальному капиталу. Но вот успел вырасти рядом с капиталом индустриальным капитал финансовый, биржевой, представляющий факт уже не насыщения, а пресыщения,

и не только не видится остановка на завоевательных предприятиях передовых наций, но напротив, капитал финансовый как раз и создал новейшую эру безудержного империализма.

Страна, которая образовалась в свое время из борьбы за промышленную независимость, которая по своему географическому положению могла бы остаться вне сферы воинственных столкновений, страна, обладающая сама всеми видами сырых продуктов и развившая высокую промышленность – Соединенные Штаты Америки – с конца XIX века обращается в империалистическую завоевательную Державу 1-го ранга. Америка не удержалась от участия в колоссальном столкновении народов и ринулась в бой под давлением не скудости, а напротив, изобилия капитала, чрезмерного накопления «свободных» денежных средств.

Произошло все как раз, обратно предвидению теории, чудеса техники не помогли ни улучшению питания человечества, ни облегчению его работы, ни украшению его быта. Даже такие поразительные усовершенствования, как электрическое освещение, ускоренные средства передвижения едва поспевают за общим темпом до крайности напряженной жизни.

<...>

С особенной ревностью устремилась промышленность на орудия истребления, на усовершенствование военного аппарата. Сначала над ней царил софизм, составившийся под влиянием прежней веры в близость всеобщего замирения: «надо быть наилучше вооруженным, чтобы обеспечить себе мир». Но изобретателям и предпринимателям военных снаряжений подобные мотивы были не нужны: техника разрушительных орудий торжествовала над всеми другими проявлениями человеческого гения, сюда устремились талант, энергия, изобретательность.

Наконец еще один удар в лицо гуманитарной теории прогресса. <...> Новые формы производства и приложения труда привели только к образованию новых воинственных и обособленных тел в виде резко отделенных друг от друга наций и классов. Конечно, и нации, и классы существовали раньше; но никогда они в такой мере не были организациями борьбы, никогда так не щетинились друг против друга всеми орудиями обороны и нападений, как в индустриальный век, обещавший всех накормить, одеть и занять, и создавший в конце концов лишь растущее общее оскудение.

Впечатления этих усиливающихся столкновений между человеческими группами были так сильны, так решительны, что под их воздействием один из самых острых умов XIX в., Карл Маркс, выставил свою формулу борьбы классов и возвел ее в верховный закон истории, распространив его действие на все прошлые века.

Разумеется, в таком виде формула борьбы классов составляет ошибочное и одностороннее преувеличение, но сама ошибка здесь характерна:

она обнаруживает безотрадный пессимизм, сложившийся над влиянием всеобщего беспощадно воинственного соперничества Новейшего времени.

Опрокидывает теорию прогресса и самый факт современной войны, и характер ее ведения культурнейшими нациями мира. Никогда еще не были в такой мере беспощадны воюющие, никогда вандализм не достигал таких крайних размеров. Правилом прежних войн было считать мирное население не участвующим в борьбе; сражаются только армии. Если прежде во время войн завоеватели грабили и убивали, заставляли голодать невооруженное население, то общественное мнение видело в этом нарушение международного права. После первой французской революции принято было возвещать о таковом принципе в самой торжественной форме. Еще в 1870 г. во время франко-прусской войны немцы его держались. В современной войне сдержка подобного рода показалась бы сентиментальной щепетильностью.

<...>

Если до войны 1914 г. можно было считать борьбу классов одной из отдаленных возможностей и даже пытаться истолковать ее в виде метафоры, как мы говорим, например, «состязание на суде», «борьба пером и словом», то теперь она заявила себя худшей из войн; она показала вместе с тем свою теснейшую связь с войной внешней, войной наций и держав. По какой-то иронии судьбы ослепленные провозвестники борьбы классов объявляют себя пламенными пацифистами, сторонниками всеобщего мира и притом мира немедленного; на самом деле междоусобная война, которую они ведут во имя установления мира, – самая зверская и беспощадная из всех войн.

Мировая война 1914 г. обнаружила истинный характер жизни культурных наций, факт нараставшего злого соперничества и взаимной нетерпимости, скрытый от сознания общества системой старого международного права, теориями просветительного века и среди них учением о прогрессе. Нужен был гром орудий для того, чтобы исчез оптический обман возможности соглашений между нациями и державами – между правительствами, буржуазиями или рабочими, нужны были нашествия, массовые разорения и реквизиции для того, чтобы народы увидели, что они давно уже стараются отнять друг у друга хлеб и заработок, вырвать у соседа из-под ног самую почву и основу существования, что государства уже давно превратились в громадные военные лагери, что независимость наций – пустое слово, и дело идет о поглощении малых большими, о рабском подчинении слабых перед сильным.

Но хотя война – продолжение и усиление «мирного соперничества» народов, в ней все же есть нечто нелогичное, нерациональное, граничащее с безумием. Как странно было видеть Германию, которая неуклонно приобретала своим упорным систематическим трудом, своей дешевой индустри-

ей, своим цепким коммивояжерством, один рынок за другим, проникала к друзьям и врагам, свила себе гнездо на самой территории главной своей промышленной соперницы Англии, и тем не менее, в непонятном нетерпении и жадности, бросивши на весы судьбы все свое существование, вместо верного пути расчета, устремилась в громадный риск войны. Разве это не была фантастическая авантюра крупнейшего размаха?

Историк получает отсюда новый вывод и опять идущий в разрез с догматикой теории прогресса. Теория усматривала разумность, целесообразность в усилиях культурных обществ; человечество планомерно идет к улучшению своей участи, и хотя делает ошибки в частностях, впадает по временам в крайности, преувеличивает один прием, пренебрегает другими, но в целом выправляется в линию неуклонно идущего вперед подъема. Явления современности дают теперь картину совершенно иную, неподходящую к схемам восходящей кривой прогресса.

© Пихоя Р.Г., составитель, 2009